



Два дня войны (Из воспоминаний Ю. А. Федосюка)

Мой отец, филолог, историк и москвовед Юрий Александрович Федосюк (1920—1997), был призван в армию со студенческой скамьи, почти сразу же после летней экзаменационной сессии 1941 года, и получил возможность вернуться к мирной жизни лишь четыре с половиной года спустя, весной 1946 года. Подобно очень

многим ветеранам, он не любил рассказывать о войне: видимо, воспоминания о военных буднях были для него слишком тяжелыми. Как мне кажется, у каждого из участников Великой Отечественной войны имелись в запасе одна или две истории, связанные не с буднями войны, а с совсем нетипичными для тех лет забавными или неожиданными случаями, и только эти истории ветераны готовы были рассказывать многократно. Вот и в статьях моего отца я нашел всего лишь две связанные с войной истории, которые слышал от него много раз. По странному стечению обстоятельств первая из историй посвящена первому дню войны, а вторая — ее последнему (во всяком случае с точки зрения моего отца) дню.

Публикацию подготовил профессор кафедры
сопоставительного изучения языков М. Ю. Федосюк

«Если завтра война...»

В злосчастном для нашей истории 1937 году я окончил школу в Большом Вузовском переулке и, что называется, по душевному влечению поступил в институт истории, философии и литературы — прославленный ИФЛИ, который считался тогда лучшим гуманитарным вузом столицы, если не всей страны. И хотя институт просуществовал немногим более 10 лет, он оставил после себя прочную добрую славу, вырастив с десяток выдающихся людей и сотни основательно образованных и принесших пользу. Иногда ИФЛИ полушутя уподобляют Царскосельскому лицее, хотя Пушкина он миру не даровал. Зато о лицее нам напоминал окружающий ландшафт — живописные окраины Сокольнического парка с его прудами и тенистыми аллеями, местом прогулок, размышлений и споров ифлийских студентов.

Поступал я в разгар арестов и репрессий. Просмотрев мою анкету, член приемной комиссии просверлил меня глазами и тоном следователя спросил: «А кто из ваших родных репрессирован?» — «Никто», — с чистой совестью ответил я. Такой вопрос задавался всем. Но уже в ходе учения чаша сия не обошла многих вновь принятых. Если они не отрекались от родителей, то исключались из комсомола.

Избрал я не исторический, а филологический факультет: тяга к литературе и языкознанию перевесила. Кроме того, я нутром ощущал, что история — весьма скользкое поприще для молодого человека того времени, литература казалась менее рискованной, а языкознание — и вовсе почти точная наука. В числе преподавателей ИФЛИ были светила, некоторых не так давно удалили из

Московского университета как буржуазных ученых. Назову литературоведов Н. К. Гудзия и С. И. Радцига, языковедов А. М. Селищева и Д. Н. Ушакова, историков Ю. В. Готье и Н. А. Куна. Обаятельный, буквально излучавший доброжелательность профессор Ушаков вел наш маленький по составу семинар просто и увлекательно: мы всесторонне, стих за стихом анализировали "Евгения Онегина", открывая для себя пленительную прелесть и точность пушкинского языка. В семинаре профессора Д. Д. Благого мы постигали глубины пушкинского гения как поэта и прозаика.

В конце концов я выбрал лингвистику. Моим руководителем стал Р. И. Аванесов, видный фонолог и диалектолог. В июле 1941 года я должен был отправиться с ним в диалектологическую экспедицию по Рязанской области. О святое наше неведение даже ближайшего будущего!

Как ни странно, в тяжелые предвоенные годы ИФЛИ представлял собой очаг относительного либерализма. Живая мысль здесь не сковывалась так жестко, как в других вузах. Это притягивало сюда многих, как молодых, так и старых, т. е. преподавателей. Особенно процветала в нашем институте поэзия — почти как в пушкинском лицее. Когда я учился на двух первых курсах, институт уже заканчивал Твардовский; в коридорах часто можно было видеть его крупную, уверенную фигуру; выступал он и на наших поэтических собраниях. В аспирантуре состояли молодые поэты Константин Симонов и Михаил Матусовский, будущий критик Лев Копелев. Курсом старше меня учился Павел Коган, автор знаменитой «Бригантины», которую распевали все московские студенты, курсом моложе — начинающие поэты Давид Самойлов и Семен Гудзенко. Со мною одновременно постигали премудрости филологии поэт Сергей Наровчатов и будущий прозаик Елена Ржевская. Наша яркая многометровая стенгазета уделяла литературным опытам студентов почетное место.

Многие из нас занимались в Исторической библиотеке, переехавшей в 1938 году в нынешнее помещение в Старосадском переулке. К экзаменационной сессии 1941 года я готовился в ее большом читальном зале. В одно отнюдь не прекрасное июньское утро читал рассказ Бунина «Антоновские яблоки» в старом Марксовом издании — в те годы белоэмигранта Бунина у нас не переиздавали. Внезапно в зал вошла маленькая, всем нам известная женщина — дежурный библиограф — и включила репродуктор: «Сейчас будет передано важное сообщение». После позывных мы услышали заикающийся голос Молотова. Все поняли: жизнь народа и каждого из нас переломилась. «Тишина предгрозя», как еще

недавно называл наше время ифлийский поэт Костя Лащенко, кончилась, начиналась сокрушительная гроза. В бунинский томик я вложил закладку — может быть, дочитаю потом, а может быть, и нет. Все бросились к дверям. Тут я вспомнил, что в комнатке, примыкающей к залу (ныне отданной преподавателям), видел погруженного в чтение своего однокурсника И. Ольшанского. Он не слышал сообщения. Я вошел в комнату: «Кончай зубрить, война началась». Ольшанский близоруко посмотрел на меня: «Брось разыгрывать, кто тебе поверит?» Едва его убедил. После войны Ольшанский стал известным киносценаристом, автором фильмов как раз о войне («Дом, в котором я живу», «Трое вышли из леса» и др.).

На улице мне бросились в глаза мирные афиши, извещающие о веселых спектаклях летнего сезона: «Веселая война», «Дамская война»... Как беспечны мы были!

Война разлучила меня с Москвой. Осенью 1941 года, я оказался в Рязанском пехотном училище. В окрестностях Рязани пришлось изучать не местные диалекты, а «действия стрелкового взвода в наступлении и обороне». С тревогой слушали мы безрадостные военные сводки. Враг приближался к столице. Тогда я впервые ощутил всю глубину моей привязанности к Москве, каждому ее уголку и кирпичику Хотелось сражаться именно за Москву. Между тем танки Гудериана приближались и к Рязани. Нас, вчерашних студентов, увели походом в Иваново — доучиваться на лейтенантов.

Не буду утомлять читателя своей отнюдь не героической военной биографией. Скажу только, что если начало войны я встретил в Исторической библиотеке, то утро 10 мая 1945 года — на торпедном катере в Балтийском море. Мы высадились на датском острове Борнгольм, о котором до того я знал только из одноименного рассказа Карамзина. К счастью, обошлось без кровопролития: многочисленный немецкий гарнизон острова согласился капитулировать. С тех пор я крепко полюбил страну Андерсена и дважды снова побывал на Борнгольме, уже в качестве члена правления общества "СССР—Дания".

Фрагмент статьи: Ю. А. Федосюк. Познание Москвы // Краеведы Москвы / Сост. Л. В. Иванова, С. О. Шмидт. М., 1995.

«О Борнгольм, милый Борнгольм!»

О Борнгольм, милый Борнгольм!

К тебе душа моя
Стремится беспрестанно...

Н. М. Карамзин. Остров Борнгольм

Вся Европа уже праздновала победу, а в этой части Балтийского моря положение оставалось неясным и беспокойным: немецкий гарнизон оккупированного гитлеровцами еще в 1940 году датского острова Борнхольм по существу саботировал приказ о капитуляции. Остров использовался немецко-фашистским командованием как перевалочная база для войск, удиравших морем из Норвегии и курляндских котлов. Разведка 2-го Белорусского фронта докладывала: вокруг Борнхольма скопилось большое количество военных кораблей и транспортов. Командующий немецким гарнизоном Борнхольма генерал Бутман явно все еще надеялся: а вдруг союзники в последний момент поссорятся и войска его понадобятся Западу. Стратегическая же роль Борнхольма крайне важна, достаточно взглянуть на карту: это ключ к восточной части Балтики.

Между тем отлично укрепленный остров становился угрозой северному флангу советских войск, занявших всю Померанию. В этой ситуации медлить было нельзя.

Утром 10 мая отряд советских торпедных катеров вышел из померанского порта Кольберг (ныне польский Колобжег) и взял курс на главный город и порт Борнхольма Рённе. За быстроходными катерами шли транспортные суда с войсками. Командовал десантной группой начальник штаба 18-й стрелковой дивизии полковник Петр Стребков. Рядом с ним в качестве адъютанта и переводчика находился я, в то время 25-летний старший лейтенант.

На море прохладно, с берега дует порывистый бриз, через палубу перекачивается ледяная волна. Проходят час, полтора. Проглянувшее сквозь облака солнце озаряет верхушки колоколен и черепичные крыши внезапно показавшегося Рённе. Чем-то нас встретит Борнхольм?

Пришвартовываемся. В порту ни одного немца, у пирса одни лишь датские рыболовецкие суда. К нам подходят молодые люди с голубыми повязками на рукаве — представители датского сопротивления. Рассказывают: все немецкие суда в предвидении русского десанта поспешно убрались на запад. Город кишел немцами, сейчас все они попрятались в свой лагерь... В отдалении, на берегу толпы гражданских. Это невольники, пригнанные сюда из разных концов Европы. Среди разноязыкого говора слышится

русская речь. Сверкающие радостью глаза, рукопожатия, объятия: «Землячки, наконец дождались!»

Наш крохотный штаб обосновывается в Дамс-отеле — главной гостинице Рённе. Через некоторое время появляются представители немецкого командования. Бутман уже в Кольберге, там, в штабе 19-й советской армии, он официально подписал акт о капитуляции. Наша задача — провести её. Стребков объясняет немецким офицерам: сдавшемуся гарнизону гарантируется жизнь, питание, нуждающимся будет оказана медицинская помощь. Главное — избегать ненужного кровопролития, немецкое командование отвечает за строжайший порядок в частях. Сдача оружия назначена на завтра.

После легкого датского обеда Стребков посылает меня в немецкий лагерь для подготовки документов о капитуляции. Надо предупредить немцев о моем приезде. Поднимаю трубку телефона, говорю по-немецки: «Соедините меня со штабом немецкого гарнизона». В трубке пауза, дыхание, наконец слышу веселый, не без злорадства голос датской телефонистки (думала: звонит какой-то загулявший, всё проспавший немец): «А немецкого гарнизона уже нет, он капитулировал». Смеюсь, объясняю, кто я.

Но как добраться до лагеря? У нас нет никаких транспортных средств, а идти пешком далековато и, прежде всего, несолидно. Датский штаб сопротивления предоставляет мне легковой автомобиль с шофером — девятнадцатилетним Ивом Есперсенем. Ив везет меня куда-то на окраину. Вот и лагерь: стандартные немецкие бараки за оградой, плац, зачехленные орудия. Часовой тарачит глаза на русского офицера, но, ни слова ни говоря, пропускает. У штабников настроение подавленное, но работа кипит. Постепенно осматриваюсь: войска здесь отборные (откуда таких понабрали?), обмундированы отлично, вооружены до зубов. Со мной, кстати, всего лишь один пистолет ТТ. Но на календаре, даже немецком, знаменательная дата — 10 мая 1945 года. Когда ухожу, солдаты не спеша выстраиваются на последнюю свою вечернюю поверку. Ловлю ненавидящие взгляды. Иду к воротам. Голову просверливает леденящая мысль: а что если сейчас какой-нибудь фашистский фанатик пустит в спину очередь из автомата?

На следующий день у прибрежной площади выстраивается бесконечная очередь серо-зелёных мундиров. Растут груды сданных автоматов, пистолетов, касок, прочей амуниции. Апофеоз войны. Немецкий гарнизон разоружается до последнего патрона, в полнейшем порядке.

Решаю прогуляться по чистенькому, уютному городу. Подходят датчане, жмут руку, знаками просят оставить сувенир: красную звездочку, на худой конец пуговицу. Знаками же объясняю:

нельзя, форма. Тогда протягиваются руки с блокнотами: автограф, но русскими буквами! Наперебой приглашают в свои дома, на которых вывешены национальные флаги, знакомят с семьями, показывают обстановку, книги, семейные альбомы. Пьем датскую тминную водку — за победу, прочный мир, дружбу наших народов!

Через несколько дней меня отзывают на континент. Снова порт, сажусь в катер. Последнее, что вижу на Борнхольме: молоденький советский солдат из охраны порта, а рядом его ровесник — патрульный из датского сопротивления. Жаждут поговорить, да нет языка, треплют друг друга по плечу, весело, по-детски улыбаются, обмениваются табаком. Палуба вздрагивает подомной, гудит мотор, катер набирает скорость, Рённе тихо уплывает вдаль, в прошлое, а перед глазами всё время та маленькая трогательная сценка. И сейчас, тридцать лет спустя, вижу её столь же отчетливо, как и тогда.

Русскоязычный оригинал статьи: Yury Fedosyuk. The Liberation of Bornholm // Moscow News. 1975. No 18.